

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ВЫХОДИТ НА СНИМКАХ



Надежда Чародейская

Санкт-Петербург. 1883

Надежда Чародейская

**Человек, который не
выходит на снимках**

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Человек, который не выходит на снимках / Н. Чародейская —
«Автор», 2026

Санкт-Петербург, канун Рождества 1883 года. В ателье фотографа Вересова входит господин с почти бесцветными глазами и сообщает невозможное: вот уже полгода он не выходит на снимках — на всех пластинах пустое кресло. Вересов, который не верит в чудеса, берётся посмотреть — и первым делом видит, что пластины не пустые, а подменённые. Невидимость устроена человеческими руками. А когда в тёмной комнате находят мёртвым фотографа, делавшего эти «пустые» карточки, Вересов понимает: за фокусом стоит не призрак, а человек, которому выгодно, чтобы другой поверил в собственную смерть. Ретро-детектив в духе Акунина и Чижова о фотографе, который возвращает людям отражение — и находит тех, кто это отражение крадёт.

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава первая. Пустое кресло	9
Глава вторая. След на бумаге	14
Глава третья. Ближний круг	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Надежда Чародейская

Человек, который не выходит на снимках

Пролог

Началось это всё, как начинаются самые скверные истории, — с портрета для благотворительности. В июле восемьдесят третьего года правление банкирского дома «Веденеев и Гуцин» постановило, по случаю двадцатипятилетия фирмы, заказать парадные портреты обоих хозяев, и Пётр Аристархович Веденеев, человек в делах скорый, а в сантиментах скупой, отмахнулся: снимайте, мол, где хотите, только не таскайте меня по жаре. Таскали, впрочем, его самого, и не куда-нибудь, а в знаменитое ателье на Невском, где умели снимать банкиров так, что они выходили на снимках и солиднее, и моложе, и — что для банкира, может, всего дороже — безупречно честными на вид.

Снимали, впрочем, не его одного. Постановление правления касалось обоих хозяев, и Марк Савельевич Гуцин, компаньон, человек шумный и до собственной персоны чувствительный, к съёмке готовился, как к параду: за неделю заказал новый сюртук, перебрал три галстука и дважды заезжал в ателье «посмотреть, как оно выходит». Веденеев же, которому вся эта затея была поперёк горла, согласился, лишь бы отвязались, и поставил одно условие: снимать его в четверг, после обеда, потому что по четвергам он, по обыкновению, бывает «меньше похож на себя самого» — то есть, как он пояснил секретарю, менее раздражён.

Гуцин, разумеется, вышел на своём портрете отменно: грудь колесом, орден, взгляд, в котором читалась вся скорбь двадцати пяти лет, прожитых, по его собственным словам, «во благо чужого рубля». Веденеев, глядя на этот портрет, только хмыкнул: «Вексель бы так честно выглядели». А своего собственного он в тот день ещё не видел.

Снимал его сам хозяин ателье, седой, при галстуке-бабочке, из тех стариков, что с аппаратом говорят ласковее, чем с людьми. Пётр Аристархович сидел в кресле, прямой, как приходная книга, и думал о векселях, а фотограф всё хлопотал вокруг: свет не тот, рука не так, подбородок, извольте, чуть выше. Наконец щёлкнул затвор, и Веденея отпустили — с обещанием, что готовый портрет доставят в банк к пятнице.

Портрет обещали доставить через три дня, и эти три дня Веденеев, человек, никогда не ждавший ничего с нетерпением — ибо деньги, в отличие от людей, не заставляют себя ждать, — впервые в жизни считал часы. Портрет заказывался не для конторы и не для совета, а для дома: он хотел повесить его в кабинете, над несгораемым шкафом, рядом с тем, давним, где был вихраст и непокорен, — чтобы всякий входящий видел: вот человек, который начал с малого и кончил банкирским домом. И чтобы сам он, Пётр Аристархович, изредка поднимая глаза от счетов, видел подтверждение тому, что жизнь удалась. Суетность эта была у него, человека сухого, одна-единственная, и оттого берёг он её, как берегут дорогую, но бесполезную вещь, — втайне и с нежностью.

Июль в тот год стоял пыльный и жаркий, и Веденеев, выходя из ателье, помнится, ещё подумал, что на карточке, пожалуй, выйдет усталым: у него ныла спина от долгого сидения перед аппаратом. Он не знал тогда, что выйдет на этой карточке вовсе не усталым. Что его на ней вообще не выйдет.

Доставили. И вот тут, доложу я вам, началось то, чего не объяснит ни одна кассовая книга.

Курьер внёс портрет в кабинет, Веденеев, не глядя, махнул — поставьте к стенке, — и только вечером, оставшись один, развернул картон. И долго потом сидел, глядя на него, как глядят на записку, писанную незнакомым почерком.

На портрете было кресло. То самое, с высокой спинкой, с гвоздиками по обивке. И стена за креслом, и ковёр под ногами, и даже, если приглядеться, лёгкая тень от драпировки слева. Всё было на месте. Не было одного — самого Веденеева. Кресло стояло пустое, аккуратное, как перед началом сеанса, будто человек, которого снимали полминуты назад, встал и вышел, не оставив на стекле ни следа.

Веденеев был человек не суеверный. Он перевернул портрет, осмотрел оборот, поднёс к окну, к лампе. Потом, недолго думая, послал в ателье с запросом: что за глупая шутка? Из ателье прислали извинения, скидку и нового курьера. Пересняли заново, бесплатно, при самом хозяине. И через три дня Веденеев снова сидел у себя в кабинете и смотрел на новый портрет.

Кресло. Стена. Ковёр. И никого.

Странное дело: Веденеев, человек, который за двадцать пять лет привык доверять только цифрам и подписям, стоял теперь над этим пустым креслом и ловил себя на мысли, что смотрит на него так, как смотрят на вещь, из которой только что ушла жизнь. Была в этом портрете какая-то подлая, невыносимая аккуратность: кресло стояло ровно так, как он на нём сидел, — и стена, и ковёр, и даже свет, падавший из окна, — всё было на месте. Всё, кроме него самого. И вот это-то «кроме» и было хуже всего: не пустота, а аккуратно вынутый человек.

Он вспомнил — и удивился, что вспомнил именно это, — как после похорон жены ему всё казалось, что дом ещё помнит её шаги, что кресло в гостиной ещё хранит её тепло, и как он по вечерам, возвращаясь из банка, долго не решался войти в гостиную, потому что боялся — вдруг её там нет. Потом прошло. Он приучил себя не оглядываться. И вот теперь дом снова глядел на него пустотой — только на этот раз из кресла вынули не жену, а его самого.

И впервые за долгие годы Пётр Аристархович Веденеев, человек, не боявшийся ни ревизий, ни конкурентов, ни собственной смерти, — испугался. Не за дело, не за банк, не за деньги. А за то, что, может быть, и впрямь — его уже нет, и только портрет этот, пустой и аккуратный, ещё помнит, где он сидел.

Вот тогда-то впервые по спине у него, человека, который двадцать пять лет без дрожи подписывал разорения и банкротства, пробежало то, чему он не сразу подобрал название. Он велел принести все карточки, какие есть в доме, — и пересмотрел их одну за другой. На тех, что были сняты до июля, он был. На всех. И на дагерротипе с молодости, и на групповом снимке совета, и на карточке, что висела у него в кабинете. А вот на последних двух — на июльских — его не было.

Первое время Веденеев, человек точный и к мистике не склонный, искал объяснение самое простое и оттого самое для него обидное: что он сам виноват. Что дрогнула рука, что сбился фокус, что фотограф в ателье — старик с белыми бровями, снимавший его ещё при покойной жене, — стал, верно, сдавать глазами. Он подходил к зеркалу и подолгу вглядывался в собственное лицо, будто надеясь отыскать в нём какую-нибудь перемену, — но лицо было всё то же, обыкновенное, банкирское, и никуда оно, сколько ни гляди, не девалось. Старик-фотограф божился, что снимал, как должно, что пластина была свежая, что свет стоял ровный, — и сам, кажется, боялся собственных снимков не меньше заказчика.

Тогда Веденеев и решил проверить себя ещё раз — уж так, чтобы не осталось ни одной щели, сквозь которую могло бы пролезть сомнение.

Начал он с малого: заказал себе тот же ателье-портрет, что заказывал и прежде, но на этот раз сам встал у окна, сам поправил кресло и сам, краем глаза, не спуская взгляда с фотографа, следил за каждым его движением. Вышло. На этом снимке Веденеев сидел в кресле собственной персоной — седой, суровый, в сюртуке, с цепочкой от часов через жилет, — и до того обыкновенно, что он даже сам себе показался скучным: обыкновенный банкир, каких на Невском встретишь десятков за час.

Тогда он заказал снимок у другого фотографа, на Литейном. Вышел и там. Тогда у третьего, у Садовой. Вышел и там. И вот тут-то, сопоставив числа, Веденеев впервые почувство-

вал ту холодную, змеиную тревогу, которая с тех пор уже не оставляла его: выходило, что пропал он не всегда, а только на тех снимках, которые делались в его собственном доме, в его собственной гостиной, на его собственном кресле. То есть исчезал он не от фотографов и не от света. Он исчезал — у себя.

Мысль эта была до того нелепа, что он сперва отмахнулся от неё, как от бреда. Но человек, двадцать пять лет веривший только арифметике, не умеет отмахиваться от цифр. А цифры — даты, адреса, фамилии — складывались в один упрямый, невозможный итог: в его доме завёлся кто-то, кто вынимает его из карточек. И этот кто-то — свой.

И тогда он, человек точный, проверил то, что проверяют в таких случаях: не свихнулся ли он сам. Вызвал своего поверенного, двух приказчиков, при них снялся у третьего, случайного фотографа. Карточку проявляли при всех. И вышла на ней — скамья в саду, куст сирени, кованая ограда. И пустое место на скамье, где, по словам трёх свидетелей, сидел Веденеев.

И всё-таки, даже увидев пустую скамью собственными глазами, он не поверил. Человек, двадцать пять лет ссужавший деньги под чужие ручательства, знает цену всякому поручительству — и потому, вернувшись в кабинет, первым делом велел принести все карточки, какие только найдутся в доме.

Дальше пошло, как идёт у всякого, кто не верит в чудеса, но верит в арифметику. Веденеев приказал позвать в дом фотографа — лучшего из тех, что снимал его в городе, — и велел снять всех домашних, всех до единого, в тех самых комнатах, где он прежде исчезал: в гостиной, в кабинете, на лестнице, у окна в столовой. Снимали по-разному: утром и вечером, при лампах и при дневном свете, поодиночке и вместе. Веденеев, человек основательный, сам составил список — кто, где, когда — и сам при этом присутствовал, не спуская глаз с камеры, с пластин, с рук фотографа.

Карточек набрался целый ящик. И вот этот-то ящик, запёртый на ключ, он и велел принести себе в кабинет, когда наконец остался один.

Принесли целый ящик. И он, запёршись, разложил их по годам, как раскладывают счета перед ревизией: дагерротип с молодости, где он вихрастый и при непокорном чубе; карточка с совета, где он при ордене и смотрит строго; та, что висит в кабинете, — хмурый, но живой. Всё это был он. А с июля начиналось чёрное: пустое кресло, пустая скамья, пустая гостиная — и так до самого декабря, как будто кто-то аккуратно, месяц за месяцем, вынимал его из собственной жизни.

И тогда он сел и составил список. Кто вхож в дом? Кто знает, куда он ездит сниматься? Кто мог — не украсть, не поджечь, а вот так, изо дня в день, вычёркивать его из каждого портрета? Список вышел короткий, и оттого страшный: в нём были все, кого он знал и кому верил. А это, подумал он, глядя на список, и есть самое скверное: когда у тебя крадут отражение, подозревать приходится тех, с кем сидишь за одним столом.

Кто-то в городе, подумал он в ту ночь, глядя на это пустое место, — кто-то в городе методично, пластину за пластиной, вычёркивает его из всех снимков, как вычёркивают из списка несостоятельного должника. А кто вычеркнут из списков — того, известно, скоро и вовсе не станет.

Полгода эти дались Веденееву тяжело. Человек, всю жизнь державшийся на том, что умеет считать и предвидеть, вдруг оказался в положении, когда считать нечего, а предвидеть — нечего. Он стал бояться зеркал — не потому, что ждал в них пустоты, а потому, что зеркало, как и фотография, показывало его самого, а он уже перестал понимать, верить ли этому отражению. По утрам, бреясь, он ловил себя на том, что глядит в амальгаму дольше нужного, точно проверяя, на месте ли он. По вечерам, возвращаясь из банка, подолгу стоял в прихожей, не решаясь снять шубу.

Прислуга за эти полгода выучилась ходить по дому на цыпочках. Гости, чувявшие неладное, стали заглядывать реже: кому охота сидеть в доме, где хозяин говорит с тобой и в то же

время, кажется, не верит, что ты его видишь. А Веденеев, человек гордый, молчал. Молчал о главном, но и о пустяках стал говорить так, будто каждое слово его могло быть услышано кем-то третьим. И вот это-то — вечное, изматывающее чувство, что за тобой, невидимый, стоит кто-то, кто вынимает тебя из мира по своему произволу, — и свело его в конце концов с ума настолько, что он, человек точный и недоверчивый, поехал к фотографу, о котором говорили, будто тот разбирает такие дела, как часовщик разбирает часы.

Прошло полгода.

Глава первая. Пустое кресло

Ателье Вересова стояло на Загородном, во втором этаже, над бакалейной лавкой, и в декабре, когда смеркаться начинает уже после полудня, в его окнах допоздна горел тот красноватый, нездешний свет тёмной комнаты, на который прохожие оглядываются невольно: не то пожар, не то колдовство. К Рождеству работы всегда прибавлялось. Город, будто сговорившись, вспоминал, что у него есть лица, и нёс их снимать — кто для невесты, кто для матери в провинцию, кто для потомства, которое, как известно, прощает всё, кроме отсутствия карточек.

Утро в ателье на Загородном начиналось одинаково и, на посторонний взгляд, до обидного прозаично: в семь часов Макар, кряхтя и поминая вчерашний день, вылезал из своей каморки, растапливал печку, развешивал на просушку вчерашние отпечатки и принимался за уборку с тем ожесточением, с каким иные принимают за врага. Веник у него летал по приёмной так, что пыль в солнечном луче стояла столбом, а сам Макар при этом разговаривал — то с веником, то с портретами на стенах, то с котом, если кот забредал с заднего двора. Вересов, слыша сквозь сон этот привычный шум, обыкновенно ещё с полчаса лежал, глядя в потолок и перебирая в уме вчерашние дела, — и в этой утренней, полусонной тишине ему, человеку несуетному, думалось лучше всего.

Так было и в тот день. Только теперь, перебирая дела, Вересов думал не о заказных портретах и не о свадебных группах, а о господине, который накануне сидел у него в кресле и смотрел на собственный негатив так, как смотрят на приговор. И мысль эта — о человеке, который полгода не выходит на снимках, — не отпускала его с самого пробуждения, как не отпускает негатив, который ждёшь проявить.

О Макаре надобно сказать особо, ибо без него вся эта история, пожалуй, и не сдвинулась бы с места. Был он при Вересове не то слугой, не то подмастерьем, не то сторожевым псом — а вернее сказать, всем этим разом и ещё чем-то сверх того, чему и названия не подобрать. В ателье он жил безвыездно, спал в каморке за тёмной комнатой, на сундуке, где хранились старые, не выкупленные заказчиками карточки, и божился, что во всём Петербурге не сыщется второго такого места, где барину живётся так вольготно и где самому ему так покойно спалось бы под мерный шёпот проявителя.

Происхождения он был самого тёмного — деревенского, из тверских, — но за годы, проведённые при фотографе, набрался такого ума и такой хватки, что иной приказчик позавидовал бы. Читал он по складам, писал и того хуже, зато в людях разбирался так, как не разбирается иной следователь, и чутьё имел на всякое враньё — звериное, безошибочное. Вересов шутил, что если б Макара посадить в судейское кресло, то честных людей в городе прибавилось бы втрое, а стряпчие разорились бы в один год.

Макар, в переднике и с метлой наперевес, заканчивал прибирать приёмную и ворчал вполголоса о том, что господа являются сниматься непременно к самому закрытию, «словно свет белый только к ночи и отпускают». Днём у него вышла своя маленькая победа: забежал гимназист, посланный строгой маменькой «сняться по-приличному», и Макар полчаса усаживал его и запрещал дышать, отчего гимназист вышел на снимке с лицом человека, только что проглотившего бильярдный шар. Макар, оглядев готовый отпечаток, остался доволен: «Строг и неподкупен. Маменька возрадуется».

Тёмная комната у Вересова была его крепостью, его исповедальней и, если по совести, его единственным настоящим домом — здесь, при красном свете, время текло иначе, и вся петербургская суeta, вся грязь и ложь, что приносили с собой заказчики, оставались за дверью, как остаётся за порогом снег, который отряхивают с сапог. Вересов любил эту комнату той спокойной, ровной любовью, какой ремесленник любит свой верстак: здесь всё было подчинено

одному порядку, у каждой склянки было своё место, и даже воздух — кисловатый, резкий, пахнувший проявителем — был здесь не запахом, а как бы продолжением самой работы.

В то утро, впрочем, и в тёмной комнате ему не сиделось. Он покачивал ванночку и глядел, как в растворе медленно, словно нехотя, проступает вчерашний негатив, — а мысли его были далеко, на Морской, в особняке, где полгода, если верить вчерашнему гостю, творилась та самая нечистая сила, в которую Макар верил, а Вересов — нет. Ибо нечистой силы, знал он, не бывает. Бывает только чужая, злая, умелая воля, которая любит прятаться за темнотой.

Вересов, стоя в тёмной комнате над ванночкой с проявителем, сквозь дверь слушал эту воркотню и улыбался. За годы ремесла это — снимать людские лица — приучило его к одной простой мысли, которую он ни разу не видел опровергнутой: человек на стекле выходит ровно таким, каков он есть в ту самую секунду, когда думает, что его никто не видит. А потому Вересов никогда не торопил клиента и никогда не просил «улыбнуться»: улыбка, как и всё нарочное, ложится на стекло фальшью, вроде наклеенной бороды. Правда же, хочешь не хочешь, проступает сама — как проступает изображение в проявителе: сперва смутно, потом всё резче, и уж тут ничего не поправишь.

День тот в ателье выдался пустой, как выдаются пустыми дни перед самыми праздниками: заказчики, озабоченные подарками и визитами, о фотографии вспоминают в последнюю очередь, и потому к вечеру Вересов уже всё переделал — проявил, отпечатал, разложил по местам, — а Макар, убрав приёмную, сидел на лавке у печки и вполголоса, чтобы не мешать барину, напевал что-то про мороз-воеводу. За окнами, на Загородном, начиналась та особенная, синеватая предрождественская пора, когда фонарщики раньше обычного выходят со своими лесенками, а снег, падающий с вечера, ложится так ровно и тихо, что, кажется, весь город затаил дыхание.

Вересов любил этот час — час между дневной суетой и ночной тишиной, — но в тот вечер на душе у него было смутно, как бывает смутно перед письмом, которого ждёшь и боишься. Он стоял у окна, глядя на снег, и ни о чём, по правде сказать, не думал — просто стоял и ждал, сам не зная чего.

В один из декабрьских вечеров, незадолго до Рождества, когда за окнами ателье на Загородном валил тот крупный, неторопливый снег, после которого город делается тише и как будто совестливее, к Вересову явился посетитель, каких он, при всей своей практике, ещё не видывал. Впрочем, он и сам потом признавался: за последний год практика приучила его ничему не удивляться, но такого — не ждал.

Это был господин лет сорока, одетый с иголочки, но как-то так, что одежда, при всей своей новизне, сидела на нём точно на вешалке, а не на человеке. Он вошёл, огляделся с тем особенным, напряжённым вниманием, с каким оглядывают комнату, где, может быть, кто-то спрятан, и, подойдя к прилавку, сказал негромко, без всяких предисловий:

— Господин Вересов? Мне вас рекомендовали. — Он помолчал, и Макару, выглянувшему из тёмной комнаты, показалось, что господин этот не дышит. — У меня к вам просьба. И вы, пожалуйста, не считите меня за безумца. Я говорю совершенно серьёзно. — Он положил на прилавок перчатки, и руки его при этом чуть дрожали. — Я хочу, чтобы вы сняли меня.

— Снять — это мы всегда, — начал было Макар, но Вересов, вышедший из-за ширмы, остановил его взглядом и, помолчав, спросил:

— А в чём же, собственно, затруднение, сударь мой? Снимаются у нас всякий день. Кого угодно снимем. Хоть вас, хоть, прости господи, тень вашу.

— В том-то и дело, — сказал господин, и голос его упал до шёпота, — что тень — снимается. А я — нет. — Он поднял на Вересова глаза, и в глазах этих, светлых, почти бесцветных, стояла та самая, особенная жуть, какая бывает не у сумасшедших, а у людей, которых преследует нечто настоящее. — Вот уже полгода, господин фотограф, как я не выхожу на снимках. Совсем. Стою перед камерой — а на пластине пусто. Кресло, стена, ковёр — а меня нет. Будто

я, изволите ли видеть, и не стою вовсе. — Он сглотнул. — Я сменил четырёх фотографов. Один из них, третьего дня, перекрестился и вернул мне деньги. Все карточки у меня с собой. Можете поглядеть. На всех — пусто. А я, между прочим, жив. Вот он я. Стою.

Смотрел он на гостя долго — тем самым долгим, изучающим взглядом, каким смотрит мастер на человека, пришедшего с небывалым заказом: не на лицо, не на платье, а на то, что человек прячет под лицом и платьем. И видел он вот что: перед ним сидел не сумасшедший и не фантазёр, каких за годы практики перебивало у него в приёмной немало, — те приходили с горящими глазами и начинали с середины. Этот же, напротив, держался так, словно каждое слово взвешивал на аптекарских весах, и оттого рассказ его, при всей своей невероятности, звучал трезво, как отчёт ревизору. Именно это Вересова и насторожило: вдали люди всегда одинаково — слишком гладко, слишком складно. А этот говорил сбивчиво, трудно, запинаясь на самых простых словах, — так говорят не сочинители, а люди, которым страшно повторить вслух то, что они, кажется, уже выучили наизусть.

И ещё одно увидел Вересов — и отложил про себя, как откладывают негатив на просушку: гость был человеком, привыкшим приказывать. И вот такой-то человек, приехав к безвестному фотографу, сидел теперь в его кресле, как проситель, и даже не снял перчаток — не из чванства, а потому, что, видно, и впрямь не находил себе места.

Вересов долго смотрел на него — тем долгим, изучающим взглядом, каким смотрят на негатив, на котором, может быть, проступает нечто лишнее, а может, наоборот, чего-то недостаёт. Он уже знал, кто перед ним: Петра Аристарховича Веденеева, банкира с Английской набережной, в городе знали в лицо — по карикатурам в «Стрекозе», где его рисовали непременно с мешком денег и с лицом человека, у которого просят в долг, а он слушает счёт. Вживе банкир оказался меньше и бледнее своих карикатур, и в нём, вопреки репутации, не было ничего мефистофельского — одна только усталость, глубокая, как дно его же сейфа.

— Присядьте, сударь мой, — сказал Вересов наконец, и голос его был ровен, как будто речь шла о заурядном заказе. — Макар, принеси-ка наш лучший негатив. И зажги все лампы, какие есть.

Пока Макар, крестясь на ходу, таскал лампы, Вересов разложил на прилавке те самые шесть карточек, что гость вынул из кармана с бережной медлительностью, с какой раскладывают карты перед решающей партией. Карточки были одна к одной: кресло, стена, ковёр — и пустота. Ни лица, ни фигуры, ни даже смазанного пятна. Вересов взял лупу и долго водил ею по каждой, и чем дольше водил, тем глубже становилась складка у него меж бровей: отпечатки были чистые, ровные, без малейшего следа ретуши или подчистки. Так не подделывают. Так — не выходит.

— А теперь, — сказал он, откладывая лупу, — снимем-ка вас, Пётр Аристархович, прямо здесь. Поглядим, кого из нас двоих стекло не берёт. Только предупреждаю заранее: я в чудеса не верю. А вот в то, что человек может оказаться не там, где он, по его словам, стоит, — в это, знаете ли, верю. И даже, пожалуй, не раз в этом убеждался.

Снимал Вересов так, как снимал всегда в случаях важных, — не спеша и без суеты, ибо давно выучил: суета перед аппаратом передаётся клиенту, а клиент, которому не по себе, выходит на стекле перекошенным, точно его за шиворот держат. Макар, вмиг посерьёзнев, принёс чистую пластину, расправил на кресле чёрное сукно, поправил подголовник — ту железную рогатку, что держит голову снимающегося, отчего самые храбрые из посетителей начинают вдруг вспоминать про зубного врача. Вересов же тем временем, не глядя, привычно проверил свет: отодвинул ширму у окна, поднял одну лампу, опустил другую, и тени в комнате легли так, как ему было надобно.

— Вы, сударь мой, — сказал он, оборачиваясь к Веденееву, — главное, не держите голову. Пусть она сама. Стекло не любит, когда её держат, как дыню на базаре. — И, помолчав,

прибавил тише, уже без улыбки: — И не глядите в аппарат, как в глаза следователю. Глядите куда хотите. А лучше — вон туда, на стену. Стена вас не выдаст.

Веденеев сел в кресло — вернее, опустился в него так осторожно, будто боялся, что кресло под ним сейчас же растает, — и сложил руки на коленях, и Вересов, уйдя под сукно, долго наводил камеру. И в матовом стекле, в перевёрнутом, мутноватом окошечке, в котором он привык видеть всё, что есть на свете, — в этом стекле, как ему на миг показалось, кресло стояло пустым. А человек в нём сидел. Живой. Бледный. И, что самое странное, почему-то не отбрасывающий тени на снег за окном.

Вересов снял. Проявил сам, при красном свете, под носом у Макара, который затаил дыхание, как затаивают его, когда вынимают из воды то, что уже не изменишь. Пластина была хорошая, ровная. И на ней — гляди-ка ты — сидел человек. Бледный, усталый, с теми самыми бесцветными глазами и со спиной прямой, как приходная книга. Пётр Аристархович Веденеев собственной персоной. Выходил как миленький.

— Ну вот, — сказал Вересов, разглядывая негатив на просвет, и в голосе его не было ни торжества, ни удивления — одно только спокойствие человека, который и не сомневался. — А вы, Пётр Аристархович, боялись. — Он обернулся к гостю. — Вот вы и вышли. С первого раза. И знаете, что это значит?

Веденеев смотрел на негатив так, как смотрят на письмо, вернувшееся с того света, — не веря глазам. Губы у него дрогнули, и Вересову на миг показалось, что человек этот сейчас заплачет. Но банкиры не плачут — они пересчитывают. Веденеев только медленно выдохнул, как выдыхают после долгого ныряния, и опустился в кресло, не сводя глаз со своего собственного, наконец-то проявившегося лица.

— Это значит, сударь мой, — продолжал Вересов, — что невидимки вы не настоящие. Настоящих невидимок не бывает. Бывают люди, которым выгодно, чтобы вы сами себя за такого держали. Стекло вас берёт прекрасно — берёт, да не отдаёт. Кто-то полгода стоит между вами и стеклом и всякий раз подсовывает вам вместо вас пустое кресло. — Он помолчал. — И этот кто-то, заметьте, не призрак. Призраку ваши карточки ни к чему.

— Дык оно ж... выходит, нечистой силы нету? — выдохнул Макар с таким облегчением, что Вересов невольно усмехнулся.

— Нечистая сила, Макар, — это когда человек человеку бумажку подсовывает. Хуже неё ничего не бывает. — Он повернулся к Веденееву. — Ну вот что, Пётр Аристархович. Я это дело беру. Но предупреждаю: я не гадалка и не заклинатель. Я буду искать не того, кто вас «не берёт», а того, кто это устроил. Потому что, поверьте человеку, который двадцать лет смотрит на свет, — так не бывает. Так — делается. Вас, как видите, берёт даже моё стекло. Стало быть, где-то в Петербурге сидит человек, которому очень нужно, чтобы вы поверили в обратное. Вот его-то я и сниму. И, извольте, — он усмехнулся, — он у меня выйдет как миленький, со всеми своими хитростями.

Веденеев поднял на него глаза — и впервые за весь вечер в них мелькнуло что-то, кроме жути: надежда, робкая, как огонёк в лампе на сквозняке.

— Только вы уж не сочите меня за полного безумца, — прибавил Веденеев, и голос его чуть дрогнул. — Я, грешным делом, сперва и сам думал: нервы. Полгода, знаете ли, когда изо дня в день выходишь пустым, — это хоть кого доконает. Я и докторов сменил троих. Один прописал бромистый калий, другой — поездку на воды, третий — просто развёл руками и посоветовал молиться. А я, господин Вересов, человек не молящийся. Я привык, чтобы всякому делу был счёт и всякой загадке — разгадка.

— И потому пришли ко мне? — усмехнулся Вересов. — А не в полицию?

— В полицию, — Веденеев поморщился, — стыдно. Меня в городе знают. Явись я к приставу с рассказом, что не выхожу на снимках, — к вечеру весь Петербург будет читать в газетах, что банкир Веденеев спятил и завешивает зеркала. А мне это, извольте понимать, ни к

чему. Мне нужен человек, который, во-первых, умеет смотреть, а во-вторых — умеет молчать. Вы, говорят, умеете и то и другое. — Он помолчал. — И потом, у вас, рассказывают, есть одно редкое свойство: вы не верите в чудеса, но не смеётесь над теми, кто в них попал. Это, знаете ли, дорогого стоит.

— Только одно условие, — прибавил Вересов, — расскажите мне всё. С самого начала. С того самого дня в июле, когда вы впервые не вышли. Кто был рядом, кто знал, куда вы идёте сниматься, кто носил ваши карточки, кто их получал. В таких делах, сударь мой, — он наклонился через прилавок, и голос его стал тише, — невидимка всегда оставляет следы. Беда только, что следы эти — не на стекле. Они в людях.

За окном всё шёл снег, крупный, рождественский, и в его белой, неслышной пелене медленно таял и сам Загородный, и ателье, и два человека за прилавком: один — которому, если верить ему на слово, не брало ни одно стекло в городе, и другой — который только что взялся это стекло перехитрить.

Глава вторая. След на бумаге

Когда за гостем закрылась дверь, Вересов ещё долго стоял у окна, глядя, как внизу, по Загородному, уносятся сани Веденева, и крутил в пальцах лупу — ту самую, которой только что разглядывал чужие пустые карточки. Шесть карточек, шесть пустых кресел — и один живой человек, который, судя по всему, уже начал понемногу верить, что его на свете нет. Вересов повидал за годы немало странного: подделанные завещания, подменённых наследников, сфотографированных призраков, которых потом оказывалось ровно столько же, сколько фокусников за ширмой. Но такого, чтобы человек полгода не выходил на собственных портретах и при этом оставался жив, здоров и при банкирском доме, — такого он ещё не видел.

Он запер ателье, погасил лампу в приёмной, но в тёмную комнату в тот вечер не пошёл: ему хотелось думать не при красном свете, а при обычном, у окна, где видно, как на улице идёт снег. Снег в этом деле был ни при чём, но Вересов давно заметил, что думается ему лучше всего под монотонное, убаюкивающее мелькание падающих хлопьев — как будто сам город, заметая следы, заодно и выметает из головы лишнее.

— Нечистая сила, — пробормотал он вполголоса, ни к кому не обращаясь. — Шесть раз подряд, у разных фотографов, в разных ателье. Это, брат, не нечистая сила. Это расписание.

И, отойдя от окна, принялся, не зажигая огня, раскладывать карточки на столе — по порядку, от июля к декабрю.

Вечером того дня, когда ушёл Веденев, Вересов ещё долго не ложился: сидел в приёмной, глядя, как за окном, на Загородном, мелькают последние санки, и вполголоса, сам того не замечая, переговаривался с Макаром о госте, о его истории, о пустом кресле. Макар, слушая, всё крестился и вздыхал, а под конец заявил, что дело тут нечисто и что братья за него — искушать судьбу. Вересов отшутился, но, оставшись один, ещё долго стоял у окна и думал. Дело, он чувствовал, было из тех, какие либо ломаются в первый же день, либо тянут за собой долго, вязко, как тянет за собой подол мокрый снег. А тянуть он не любил.

Дело это, он решил ещё с вечера, надобно было начинать с головы, а не с ног: сперва разложить по полочкам всё, что известно, и лишь потом ходить по городу и спрашивать людей. Ибо в таких историях, он знал, человек, который сразу бросается бежать, обыкновенно и прибегает позже всех.

Утро следующего дня Вересов провёл так, как проводил все утра перед новым делом: заперся в тёмной комнате и говорил сам с собой. Со стороны могло показаться, что он разговаривает с пластинами, — и, в сущности, так оно и было, потому что с пластинами Вересов беседовал охотнее, чем с людьми: те хотя бы не лгали.

Шесть карточек лежали перед ним на сушильном столе, и он разглядывал их при дневном свете, при лампе, при свече и опять при дневном, как разглядывают не улики, а собственные сомнения. Макар, смирно сидевший в углу, только вздыхал: он уже понял, что барин его сейчас не в духе и что «не в духе» у Вересова означает «думает».

— Макар, — сказал наконец Вересов, не оборачиваясь, — подойди-ка. Глянь на эти карточки и скажи: что ты видишь?

— Дык... пустое, барин, — осторожно сказал Макар. — Кресло и ковёр. А человека нету.

— А ты глянь лучше. На что похожи эти шесть пустот?

Макар поглядел. Поглядел ещё. И вдруг, как это с ним бывало, когда догадка добиралась до него сквозь все страхи, вытаращил глаза:

— Дык они же... разные! Вон эта — кресло как бы сбоку, а эта — прямо. И ковёр... на одной клетка, на другой цветочки. Это ж разные комнаты, барин!

— Вот именно, — кивнул Вересов. — Разные ателье, разные кресла, разные ковры. А пустота одна и та же. — Он взял лупу. — Теперь смотри дальше. Бумага. Вот эта карточка —

на альбуминной бумаге берлинской фабрики, я её знаю, плотная, с холодным тоном. А вот эта — на дешёвой, варшавской, рыхлой, как вата. У одного и того же фотографа бумага так не меняется от заказа к заказу: мастер держит свой сорт, как купец держит свой товар.

— Так что ж это выходит? — прошептал Макар.

— А выходит, Макар, — сказал Вересов, откладывая лупу, — что снимали господина Веденеева одни люди, а отпечатавали — другие. Шесть карточек, шесть пустых кресел, и ни одна не сделана там, где снимался клиент. — Он помолчал. — Теперь самое весёлое. Глянь на резкость.

Макар прищурился, повёл карточку к лампе, потом от лампы, и лицо его вытянулось.

Макар вглядывался в карточку с тем старательным прищуром, с каким он вглядывался во всё, что барин просил «глянуть как следует», — отчего лицо у него принимало выражение человека, который не столько смотрит, сколько подозревает карточку во лжи. Он поворачивал её к лампе, отодвигал, снова приближал к носу, щурился то одним глазом, то другим, и даже, не утерпев, легонько потёр уголок пальцем — не сотрётся ли. Не стёрлось. Пустое кресло глядело на него с карточки с той спокойной наглостью, с какой глядит вещь, уверенная, что её ни в чём не уличишь.

— Ишь ты, — пробормотал он наконец, ни к кому не обращаясь, — гляди-ка, как ладно вышло. Ажно обидно: человек, можно сказать, полгода ходил, деньги платил, а на карточках у него — одна мебель. Это ж как в театр сходить, а тебя на афише не напечатали.

— Кресло-то резкое... а ежели б человек сидел, он бы и вышел резким. А тут — вроде как кресло сняли с фокусом, а на месте человека... ровно, без тени даже.

— Потому что человека там и не было, — кивнул Вересов. — Никогда. Понимаешь, о чём я? Кресло снимали уже пустым. Заранее. Потом отпечатали — и подсунули готовую «пустую» карточку вместо настоящей. А настоящую, где господин Веденеев сидит как миленький, кто-то выбросил или спрятал. Вот тебе и вся чертовщина. Невидимка, брат, не на стекле. Невидимка — в том, кто подменил стекло.

— Стало быть, нечистой силы нету? — выдохнул Макар с таким облегчением, что Вересов невольно усмехнулся.

— Нечистая сила, Макар, — это когда человек человеку бумажку подсовывает. Хуже неё ничего не бывает. А теперь вот что: собирайся. Поедем к господину Веденееву домой. Есть у меня подозрение, что пустое кресло — это ещё половина дела. Вторая половина сидит у него в доме и улыбается.

Вересов отложил лупу, потянулся так, что хрустнули плечи, и сказал, не оборачиваясь:

— Ну вот что, Макар. В карточках этих теперь всё ясно, кроме одного — кто и зачем. А это, брат, на бумаге не прочитаешь. Это надобно ехать и смотреть в глаза.

— Кому смотреть-то? — насторожился Макар, уже заранее недовольный, ибо знал: когда барин говорит «поедем», это значит — поедет он, а таскать кассеты будет Макар.

— А вот это мы и поглядим. — Вересов снял с гвоздя шубу, нахлобучил шапку. — Для начала — к самому господину, что не выходит на снимках. У него в доме, я полагаю, куда больше зеркал, чем у нас с тобой, а глядятся в них теперь, судя по всему, только с опаской. — Он обернулся в дверях. — Захвати карточки. Все шесть. Покажем хозяину, что его, оказывается, не снимали, а разыгрывали. Только, чур, при нём про нечистую силу — ни слова. Не ровён час, обидится.

Макар, вздохнув о том, что нечистая сила нынче опять не ко двору, сложил карточки в папку и пошёл нанимать извозчика.

Собирался Вересов, как собирался всегда на важные дела, — неспешно, но без лишнего. Карточки уложил в плоский конверт, перетянул тесьмой; конверт положил не в кофр, а за пазуху, поближе к сердцу, — по привычке, которую выработал за годы: улики, как и деньги, носят при себе. Макару велел взять фонарь и лупу — «пригодятся, авось, к вечеру». Сам наки-

нул шубу, проверил, на месте ли серебряный карандаш, и уже на пороге, обернувшись, окинул взглядом ателье так, словно прощался с ним до утра.

Макар, впрочем, собирался дольше: ему непременно надобно было захватить и мешок с сушёными калачами («дорога-то не ближняя, барин, а ну как задержимся»), и вареники запасные, и даже, к вящему недоумению Вересова, образок, которым он по старой памяти крестился на всякий случай. Вересов глядел на эти сборы, усмехался про себя, но не мешал: у каждого, знал он, своё оружие против нечистой силы. У Макара — образок и калачи. У него — лупа и серебряный карандаш.

На Морскую поехали в санях, и Макар, закутанный в отцовский тулуп, всю дорогу молчал, а потом, не выдержав, спросил шёпотом, хотя извозчик всё равно не слышал:

— Барин, а ежели это всё же того... нечистое? Ну, бывает же, что человека и впрямь стекло не берёт? Вон, в гаданьях святочных, глянешь в зеркало — а там пусто, и значит, помрёшь скоро.

— В зеркале, Макар, пусто бывает тогда, когда смотреть не на кого, — отвечал Вересов, не оборачиваясь. — А господин Веденеев — вот он, сидит, и даже, заметь, дышит. Стало быть, дело не в нём, а в том, что между ним и стеклом кто-то стоит. Ты мне лучше скажи: коли бы тебе понадобилось, чтобы человек со снимка пропал, — как бы ты это устроил?

Макар задумался так, что у него даже шапка съехала набок.

— Дык я бы... пластину, что ли, подменил? Пока она мокрая, в темноте, — кто её разберёт.

— Вот, — кивнул Вересов. — И ты бы, выходит, додумался. А теперь прикинь: подменить пластину у четырёх разных фотографов, в четырёх разных ателье, так, чтобы никто не хватился, — это уже не фокус. Это, брат, заговор. А заговор, слава богу, — не нечистая сила. Заговор — это люди. А с людьми я как-нибудь справлюсь.

Особняк этот Вересов знал и без рекомендации: всякий, кто хоть раз проезжал по Морской, невольно задерживал на нём взгляд. Стоял он не в ряду, а чуть отступя, точно не желая толкаться с соседями, — двухэтажный, тёмно-серый, с четырьмя колоннами, державшими на себе массивный фронтон, и с тем строгим, немного надменным выражением, какое бывает у старых денег: ни тебе лепнины лишней, ни вывески, ни герба, — одна только медная дощечка у двери, на которой без всяких чинов значилось: «П. А. Веденеев».

Подъезд был сух и тёпл, несмотря на мороз, и пахло в нём, как пахнет во всех таких домах: воском, мастикой и тем особым, спокойным холодком, какой стоит в помещениях, где давно не бывает нужды. Дворник, огромный, в тулупе, приподнял шапку, но глядел не на гостей, а сквозь них — с той равнодушной зоркостью, с какой дворники хороших домов смотрят на всех проходящих сразу. Вересов отметил про себя и это: в доме, где полгода творится неладное, вся прислуга поневоле выучивается глядеть мимо.

Особняк Веденева стоял на Морской, и был он из тех домов, что глядят на улицу не окнами, а бровями: тёмный, солидный, с чугунными воротами и швейцаром, похожим на вышибалу из дорогого ресторана. Внутри пахло не тем особенным банкирским запахом — сургучом, кожаными книгами и ещё чем-то холодным, вроде меди, — а, сверх того, нафталином и воском: в доме готовились к Рождеству, и где-то наверху прислуга, судя по голосам, спорила о гирляндах.

Но Вересова, человека, привыкшего замечать то, что прячут, больше всего поразило другое: все зеркала в доме — а их в прихожей и на лестнице было немало — оказались завешены тёмной кисей, как завешивают зеркала в доме, где лежит покойник.

— Хозяин приказал, — негромко, в сторону, пояснил камердинер, немолодой, с лицом человека, который двадцать лет умеет не попадаться на глаза, — ещё с осени. С тех пор, как оно началось. — И, спохватившись, добавил ровно: — Извольте в кабинет, Пётр Аристархович ждут-с.

И Вересов, поднимаясь следом, отметил про себя и эту оговорку — «с тех пор, как оно началось», — и то, как ровно, без единой лишней интонации, слуга произнёс это «оно». Так говорят о чём-то, что давно уже не пугает, а только утомляет.

Лестница в особняке была широкая, с ковровой дорожкой, прихваченной медными прутьями, и с перилами, отполированными до тёмного блеска чужими ладонями. По стенам, в ряд, висели портреты — предки, надо полагать, и все как один суровые, с теми тяжёлыми, набрякшими веками, какие бывают у людей, смолodu привыкших к тому, что им должны. Вересов, поднимаясь, скользил по ним взглядом и невольно, по старой фотографической привычке, прикидывал: вот этого бы снять при мягком верхнем свете, а вот этот, гляди-ка, так и просится в профиль — нос породистый, подбородок упрямый, эполеты.

Тихон шёл впереди, не оглядываясь, и шаг у него был тот особенный, бесшумный шаг человека, двадцать лет прослужившего при господах: так ходят слуги в хороших домах — так, чтобы их не было слышно и в то же время чтобы всегда быть под рукой.

По лестнице шли молча, и в этой тишине Вересов, по давней своей привычке, считал: три ступени до поворота, четыре двери по коридору, у третьей — бронзовая ручка стёрта до желтизны, значит, в неё входят чаще всех. Камердинер ступал впереди мягко, как ходит человек, полжизни прослуживший при людях, которые не любят шума, и Вересов, глядя на его ровную спину, в который раз подумал, что слуги в таких домах — всё равно что тени на стенах: видишь их всю жизнь и не замечаешь, а между тем они-то и знают дом лучше самого хозяина. И в этом, пожалуй, и крылось всё дело: человек, которого не замечают, видит то, чего не видит никто, — и, случается, пользуется этим, к худу ли, к добру ли.

Коридор, которым вёл их Тихон, был длинен и тёмн, как все коридоры старых барских домов, где свету полагается быть только там, где господа. По стенам, на полдороге, тускло мерцали бра, и оттого половицы впереди казались то зыбкими, то вовсе пропадающими во мраке. Вересов шёл и отмечал про себя устройство дома, как отмечает человек, которому, может статься, придётся здесь когда-нибудь искать и прятаться: вот дверь налево — должно быть, в гостиную; вот направо, за портьерой, — в кабинет; а вот эта, в самом конце, с бронзовой ручкой в виде львиной лапы, — она-то, судя по тому, как Тихон при ней замедлил шаг, и вела к хозяину.

Тихон, прежде чем отворить, одёрнул на себе ливрею, поправил воротничок и лишь потом, без стука, растворил створку, пропуская гостей вперёд, — и в этом его движении, отработанном до последнего жеста, Вересов прочитал то, что прочитал бы и всякий, кто умеет глядеть на прислугу: перед ним стоял камердинер старой школы, для которого хозяин — не господин даже, а целый миропорядок, и который двери в его кабинет отворяет так, как иные отворяют дверь в церковь.

У последней двери Тихон посторонился, пропуская гостя, и бесшумно приотворил створку. Из кабинета пахло табаком, сургучом и тем особенным холодком, какой держится в комнатах, где редко открывают окна и часто смотрят в них.

Вересов, войдя, первым делом оглядел не бумаги и не стол, а самый воздух кабинета — то, как падает из окна свет и как, несмотря на декабрь, этот свет не кажется мёртвым. По тому, как устроен кабинет, он давно уже умел читать хозяина: у человека аккуратного и бумаги в порядке, и перья подобраны по росту; у человека же, которого гложет беда, и самый порядок делается какой-то натужный, вымученный, точно наведённый для постороннего глаза. У Веденеева порядок был именно такой: вещи стояли по местам, но так, будто их расставляли не по привычке, а по обязанности, из последних сил, — и в этом Вересов, ещё не задав ни одного вопроса, уже прочитал многое.

Он любил эти первые минуты в чужом доме: они, как первые кадры на негативе, проявляют то, чего потом не увидишь, сколько ни гляди. Потому он и не торопился садиться, а про-

шёлся вдоль стены, поглядел на портреты — старые, снятые, судя по всему, ещё при покойной жене, — и только потом, опустившись в кресло, заговорил.

Кабинет у Веденеева был под стать хозяину: просторный, но тесный от бумаг, с несогнраемым шкафом в углу, на который банкир, входя, всякий раз косился, как косится мать на люльку. Сам хозяин поднялся навстречу — и Вересов отметил, что ночь не пошла ему впрок: лицо у него было цвета мятой бумаги, под глазами легли те синеватые тени, какие дают не бессонница, а страх.

— Я всё разложил, как вы велели, — сказал Веденеев, указывая на стол, где в идеальном порядке лежали какие-то бумаги и две записные книжки. — Кто знал, куда я хожу сниматься, кто носил карточки, кто их получал. По дням. Я человек аккуратный.

Слова эти Веденеев произнёс с той особенной, чуть виноватой старательностью, с какой человек показывает гостю то, что сам уже сто раз пересматривал и чему сам уже не верит. И Вересов, слушая его, отметил про себя и эту старательность, и то, как хозяин, произнеся «как вы велели», чуть запнулся, — точно сам удивился, что он, человек, привыкший приказывать, вдруг исполняет чужие веления. За полгода, подумал Вересов, человек этот так устал от собственной невидимости, что готов слушаться первого, кто пообещает его вернуть, — как слушается доктора больной, которому давно не помогают никакие лекарства.

А это, он знал по опыту, и есть самое опасное положение для того, кто ищет правду: когда тебе верят заранее, легко повести за собой. И легко самому увлечься. Поэтому, подходя к столу, Вересов заставил себя оставить всякую жалость за порогом — как оставляют зонт, входя в дом, где, может статься, тебя самого сейчас начнут выводить на чистую воду.

Вересов глянул на стол, и взгляд его на минуту задержался на этих бумагах, разложенных с той особенной, почти обидной аккуратностью, какая бывает только у людей, привыкших к двойной бухгалтерии и к страху, что копейка закатится за шкаф. Дни, имена, суммы — всё было выписано ровным, без единой помарки почерком человека, который и в отчаянии не позволит себе кляксы. Вересов, сам человек порядка, оценил это по достоинству: такие клиенты либо помогают делу всей душой, либо мешают ему всей душой же, но и в том и в другом случае — с одинаковой, изматывающей аккуратностью.

Он выложил на край стола, в ряд, шесть карточек, так, чтобы хозяин всё время видел их уголком глаза: человек, который говорит о своём несчастье, глядя на его вещественные доказательства, всегда говорит честнее. Так, во всяком случае, выходило у Вересова, а он за годы практики перевидал говорящих всякого сорта.

— Это я уже понял, — сказал Вересов, садясь без приглашения. — Начнём с простого. Кто, кроме вас, получал ваши готовые портреты на руки?

Расспрашивал Вересов обстоятельно, как расспрашивают не из любопытства, а по делу, и Веденеев, человек точный, отвечал охотно, даже, кажется, с облегчением: наконец-то его слушали всерьёз, не крестясь и не отводя глаз. И чем дальше шли ответы, тем яснее вырисовывалась перед Вересовым та цепочка, по которой пустые карточки шли к своему хозяину: от фотографа — в конверт, из конверта — в руки курьера или камердинера, из их рук — на стол, в кабинет, к самому Веденееву. Цепочка эта была не длинна и не коротка — ровно такая, чтобы в ней, как в хорошей партии, нашлось место для одного лишнего хода.

И Вересов, слушая, уже прикидывал, где именно эта цепочка рвётся. Ибо он знал: подмена — как и всякое тёмное дело — не любит длинных рук. Чем больше рук, тем больше свидетелей. А стало быть, и подменял карточки тот, у кого руки были ближе всех к столу.

— Курьер. Приносил в банк, отдавал дежурному. В банке — швейцар. Дальше — ко мне в кабинет. Но в первый раз, в июле, я сам велел поставить к стенке, не глядя. Кто угодно мог подменить.

— А дома? Те карточки, что снимали у вас, в доме?

— Приносил Тихон. Камердинер. Он же ездил со мной к фотографам. — Веденеев помедлил. — Вы думаете на Тихона?

— Я пока ни на кого не думаю, — спокойно сказал Вересов. — Я, сударь мой, собираю тени. У каждого человека в вашем доме есть тень, и мне надобно узнать, у кого она длиннее. — Он откинулся в кресле. — А теперь расскажите мне то, чего нет в ваших аккуратных списках. Что изменилось в вашей жизни за последние полгода? Не считая, разумеется, того, что вы перестали выходить на снимках.

Разговор, до того ровный, как бухгалтерская книга, вдруг споткнулся — и Вересов, человек, привыкший слушать не слова, а паузы, сразу насторожился. Веденеев сидел, опустив глаза на свои руки, сложенные на столе, и было в его позе что-то такое, чего Вересов не видел за всё время их короткого знакомства: не хозяйская, не банкирская, а какая-то давно отложенная, человеческая усталость. Так сидят люди, которые долго носили в себе тайну и наконец решились её вынуть — и теперь не знают, с какого конца начать.

Вересов не торопил. Он знал цену таким паузам: в них человек сам подходит к тому, ради чего, собственно, и затевал весь разговор, и подтолкни его — он отпрянет, и больше ты из него ничего не вытянешь. Поэтому он просто сидел и ждал, глядя не на Веденева, а в окно, за которым по Морской, поблёскивая на утреннем солнце, катил чей-то экипаж, — и ждал, пока банкир сам переступит через то, что мешало ему говорить.

Веденеев помолчал. Потом поднялся, прошёл к окну, за которым бесшумно валил снег, и сказал, не оборачиваясь:

— Я собрался жениться. Во второй раз. — Пауза. — И переписать завещание.

— Вот как, — сказал Вересов, и в голосе его не было удивления. — И кто же, если не секрет, от этих двух новостей должен был прийти в восторг? А кто — в ужас?

Веденеев обернулся, и Вересов впервые увидел в его бесцветных глазах не жуть, а что-то другое — холодное, цепкое, то самое, что, видно, и сколотило банкирский дом на Английской набережной.

— Вот об этом, господин Вересов, — сказал он, — я и хотел бы узнать от вас.

Глава третья. Ближний круг

Приглашение это застало Вересова врасплох, хотя он и виду не подал. Обедать у подозреваемых он не любил: за столом люди ведут себя как на сцене, а ему нужны были они не на сцене, а за кулисами. Но отказываться было нельзя — банкир, судя по всему, привык, что его приглашения принимают. И Вересов, взвесив, решил: обед так обед. Заодно, рассудил он, и поглядим, каков этот ближний круг на расстоянии вилки.

Утро перед обедом он потратил с толком: переменял скюртук на свежий, выбрился тщательнее обычного, а в боковой карман, по давней привычке, сунул маленький блокнот в клеёночной обложке — для наблюдений, которые на людях не запишешь. Макар, помогавший ему застёгиваться, всё допытывался, «не в острог ли барин собрался, что ли, — такой нарядный». Вересов отвечал, что в остроге он уже бывал и нарядным, и не очень, а нынче едет туда, где острог, может статься, пострашнее, только без решёток.

Обедать Вересова оставили не то чтобы по доброте душевной — Веденеев просто не умел отпускать человека, не выжав из него толку, а Вересов, со своей стороны, не умел отказываться от обедов, на которых подают главное блюдо — сведения. Так что к пяти часам он уже сидел в столовой особняка на Морской, за столом, накрытым на шестерых, и с любопытством натуралиста разглядывал тех, кто составлял ближний круг Петра Аристарховича.

Впрочем, до обеда было ещё время, и Вересов, явившись в особняк пораньше, успел рассмотреть то, что в прошлый раз, на ходу, от него ускользнуло. А рассмотреть было что.

В прихожей, у самых дверей, стояла подставка для тростей и зонтов — и в ней, среди прочего, торчала трость, какой Вересов давно не видывал: чёрного дерева, с набалдашником литого серебра, изображавшим, судя по всему, голову борзой. Рядом, на вешалке, висела шуба на собольем меху — молодая, щегольская, не чета хозяйским. И Вересов, человек, привыкший читать прихожие, как иные читают газеты, отметил про себя и трость, и шубу, и ещё то, что швейцар, принимая его, поглядел сперва на него, а потом — куда-то вверх, на лестницу, с тем особенным, выжидающим выражением, с каким глядят люди, ждущие, что им вот-вот скажут, кого пускать, а кого нет.

— Вас, господин фотограф, — сказал швейцар, понизив голос, — просили обождать в малой гостиной. Хозяин-с заняты. А молодой барин, — он кашлянул, — молодой барин изволят быть у себя.

И Вересов, следуя за ним по лестнице, подумал, что в этом доме, где полгода завешивают зеркала, как при покойнике, даже швейцар говорит о живых людях так, будто те уже наполовину призраки.

Ожидание обеда затянулось, и Вересов, предоставленный самому себе в большой гостиной, успел оглядеться так, как умел оглядываться только он: не украдкой и не в лоб, а тем ровным, хозяйским взглядом, каким читают комнату, прежде чем снять её. Комната говорила о хозяине больше, чем тот сказал бы о себе сам. Всё здесь было дорого, добротное и слегка холодно — как в банке, где даже кресла сидят навытяжку. По стенам, в тяжёлых рамах, висели портреты: вот Веденеев молодой, при непокорном чубе; вот он же с женой — покойной, догадался Вересов по чёрной ленте, опоясывавшей раму; вот покойная одна, в чепце, со взглядом тихим и, как водится на посмертных ретушах, чуть удивлённым.

Вересов задержался у этого портрета. Женщина смотрела на него спокойно и, как ему показалось, без всякого укора — так смотрят со стен люди, которым уже нечего бояться. «Вот, значит, как, — подумал он. — Полгода вдовец смотрит в пустые карточки, а в доме — портрет покойницы. Тут и здоровый-то начнёт видеть то, чего нет». Он перевёл взгляд на простенок между портретами, где торчал свежевбитый гвоздь, ещё без рамы, и отчего-то подумал, что

именно сюда хозяин, надо полагать, собирался повесить свой новый портрет. Тот самый, на котором вместо него вышло кресло.

Вошёл он не через дверь, а как-то сразу, точно был в гостиной всегда и только ждал повода обнаружиться: молодой человек лет двадцати пяти, в отлично сшитом сюртуке, с перчатками в руке и с тем особенным, слегка скучающим изяществом, какое даётся не воспитанием, а привычкой к деньгам. Волосы его были тщательно прибраны, усы едва намечены, и весь он, от пробора до лаковых штиблет, являл собою образцового петербургского племянника — из тех, что служат не столько по делу, сколько при дядюшке.

Держался он с Вересовым так, как держатся с человеком нанятым: вежливо и чуть свысока, с той небрежной приветливостью, за которой не стоит ровно ничего. Но Вересов, привыкший за годы практики читать людей по лицам, как другие читают по складам, сразу отметил две вещи: что улыбка у этого молодого человека живёт на губах отдельно от глаз, и что на фотографа он взглянул не как на случайного гостя, а как на противника, которого заранее прикидывают на вес.

Ждать гостей пришлось недолго, и Вересов был рад этому: в домах, где неладно, ожидание всегда тянется дольше обычного, точно самый воздух сгущается и не пускает время вперёд. Гостиную, в которую его провели, он успел разглядеть всю — от лепного потолка, чуть потемневшего по углам, до бронзовых часов на камине, стоявших почему-то не на месте, а боком, словно их кто-то в спешке переставил и забыл поправить. Таких мелочей Вересов не пропускал никогда: он знал, что в доме, где завелось своё, тайное, вещи начинают жить не так, как прежде, — и выдавать хозяев пуще всякой прислуги.

Потому и первым явившегося гостя он встретил, уже кое-что зная о нём наперёд: по тому, как в прихожей небрежно, с размаху, сбросили на руки лакею шинель, по голосу, молодому и самоуверенному, долетевшему из-за двери раньше самого гостя. Так входят в дом только свои — или те, кто давно и прочно считает себя своим.

Первым явился племянник. Борис Степанович Веденеев оказался именно таков, каким его описывали в городе: лет двадцати пяти, невысок, строен, одет так, что фрак сидел на нём как влитой, а не как на вешалке, — и с тем приятным, располагающим лицом, какое бывает у молодых людей, которым всё на свете даётся легко, кроме, может быть, денег. Он вошёл, поцеловал дяде руку — нет, сначала поклонился, потом поцеловал, — и перевёл на Вересова взгляд, в котором было ровно столько приветливости, сколько нужно, чтобы не показаться ни холодным, ни назойливым.

— А, тот самый господин Вересов, — сказал он, улыбаясь одними губами. — Наслышан. Дядюшка, я гляжу, решился наконец прибегнуть к знаменитости. И правильно. Я всегда говорил: ежели наука бессильна, надобно звать того, кто умеет смотреть в тёмную комнату.

— Отчего же сразу в тёмную, — отозвался Вересов, — у меня и в светлой неплохо выходит. А вы, стало быть, в курсе дядюшкиных... затруднений?

— А кто ж в доме не в курсе, — пожал плечами Борис. — Полгода, почитай, живём как при покойнике, извините за прямоту: зеркала завешаны, дядюшка не снимается, лампы по ночам не гасит. Мы все извелись. Я уж и к докторам его водил, и к профессору одному, — он понизил голос, — к нервному. Всё без толку. Говорят, переутомление.

— И что ж, переутомление на снимках, по-вашему, как выглядит? — полюбопытствовал Вересов.

— А вот это, — Борис развёл руками с изяществом человека, признающего чужую правоту, — уж вам виднее. Я в вашем ремесле профан. Я, знаете, и сам-то сниматься не люблю: говорят, выхожу на карточках глупее, чем есть.

Вересов хотел было заметить, что на карточках, по крайней мере, люди выходят, — но в столовую уже вкатился второй гость, и Вересов прикусил язык: смотреть было на кого.

Пока Борис, закончив разговор, отходил к окну — встать вполоборота, как встают люди, знающие, что на них смотрят, — Вересов глядел ему вслед и, по давней своей привычке, прикладывал к человеку ту мерку, какую прикладывал ко всем, кого видел впервые: что этот человек прячет. Не то, разумеется, прячет ли он что-нибудь — все прячут, это как нос, у всякого есть. А что именно и как давно. Племянник прятал, судя по всему, многое и умело: улыбался одними губами, глядел приветливо и при этом ровно так, чтобы собеседнику всё время казалось, будто это он, собеседник, чего-то недоговаривает. Так умеют глядеть люди, которым с детства приходилось быть приятными за двоих: за себя и за того, кто платит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.